

П Р О З А

А.Т. Драгомищенко

ХВОСТ ДРАКОНА

«Ни одно справочное издание, не говоря уже о фундаментальных исследованиях, по сей поре должным образом не уделяли внимания этой партии. Вполне вероятно, что с точки зрения знатоков и тонких ценителей претворения количества в качество, склонных к истинке теоретиков и специалистов по сокручительным фланговым атакам, она — партия — ничем ни примечательным не отличалась. Более того, скажем, она была во многом сродни тем бесчеловечным партиям, что разыгрываются из года в год на весеннем припеке в сиверах и садах, когда вода мутна и тороплива, но воздух искрится, а вечер кажется неправдоподобным; в полуподвальных помещениях, при входе украшенных волооченным кренделем коня, — а издали, впрочем, и самог перевернутого, — закрученного так хитро, что при одном лишь взгляде на него становится понятно, до чего омерзели был создатель его топологическими грезами; в домах же, когда чаепитие и разговоры (чьи ханы жили новостей давно вскрыты) замрут, точно веси какао, покачиваясь, сумерки наделают женщины всем тем, чем мы их наделали в несложных, слегка прозаических историях, рассказывающих самое себя в предверии сна, и воцаряется гадкая, точно пантросная бумага тишина, готовая лгать и кривляться на пробегающей гребенке часов за спиной.

Между тем партия была не столь плоха, как могло показаться ей. Повторяем, она была не хуже и не лучше тысячи остальных, отграниченных в прошлом, в будущем и настоящем. С самого начала, по словам очевидцев, — повсеместно встречаются их равноречивые свидетельства, — игра овладела собой, словно музыка —

(в чем очевидцы сходятся, припоминая, причем несколько раз повторяется упоминание о некоей мумии) — но ни о простоте, ни о сложности мы не произнесем ни слова, ибо занимает нас иное — законы, в силу которых лица игроков приобретают печальное выражение слепых мудрецов, волосы чьи повеял ветер на жаркой дороге, а также сумерки, приближающие тени к нашим снам, просто пререкавшихся между собой очевидцев, память которых впоследствии будет заткана благодатной тьмой. Садилось солнце, от заката на окне танцует соль и прохлада. Был ветер. И вероятно был Бог".

"Я вижу, — читаем дальше, — с ухваченными ногтями пальцы. Они сжимаются на ладонь юной белой офицера, выдвигая лишь его вперед, тогда как противник делает все от него зависящее, чтобы незаметно собрать покер, не прибегая к явному жульничеству, просто уповая на фею судьбы, с джокером, припущенным ниже левой лопатки, хотя и ему и нам известно, и нет нужды повторять, что ореховые листья, пускай даже и подсохшие, — о, я помню как собирала тогда их ты! ночью, после нашей ссоры, осень, луна, — с черно-багряными прожилками на глубокому пурпурному фону, тронутому там и здесь сепией, не лучшей карты, чтобы собрать даже мало-мальски приличную кисть и вынудить вашего противника бросать кости во второй, в третий раз, заставляя отступать все дальше и дальше в небытие, где пренести сады, справа кручи, а впереди обрывается трона. Чай тлеет в темной чашке, оплетенной прохладными багряными артериями. Мой друг, читали когда-нибудь вы по осени сад? Декабрь, да? А потом: тлеют собранные сушь смородины, минувшая, цветут дымно. Из сигареты полз синий дым, возносился к открытому окну, а затем растворялся в небе северных ночей. Белый дракон парил над снежными холмами. Черная ладья уходила к югу, теряясь в ледяных листьях тумана, омытых бесконечно падающим солнцем, остывающим привкус лязгающих конниц. И стерня слабо пробежала и не ранила босые ноги незрячих детей, полыми двигавшихся на северо-запад, в склоненном небесном своде которого уже моргали морской влагой неугаданные звезды, не достигавшие светом навсегда раскрытых глаз стариков, ведущих детей к надгробью".

Скорее всего, такое начало показалось ему неубедительным, несмотря на затраты; оно показалось ему отвратительным, оно представилось ему... — не будем останавливаться на догадках, возникающих с неоплауемой легкостью по малейшему поводу — и он скользнул в сторону, что нетрудно заметить и не требует чрезмерной некумариности в литературе. Быть может, почувствовал, что оно вышвырнет его в совершенно незнакомые места, где он останется без всякой надежды на возвращение, блуждая в перспективах призрачной соразмерности, — там тебе быть, как говорится, быть, познать, белым песком пересыпать. Вот было у матери три сына, было... Был ветер, был... О молчи, не смей! Не наде!

Так или иначе, но мы знаем: каждое начало представляет собой нечто вроде уродливой куклы, мумии, спеленутой марлей страха, болезни, неуверенности. И ничего больше. Не исключена вероятность (впрочем, никто на этой точке зрения не настаивает), что ужас коснулся его глаз, застылая хорошо, прочно обжитый пейзаж маниакальных пресуществлений обещания в нечто знакомое, до некоторой степени скучное, а стало быть, спасительное, не требующее в первую голову от него превращения в существо, ничего общего с речью не имеющее; но теперь, когда он отшатнулся, отпрянул, скользнул и побежал — прибежал для видней выразительности к метафоре — ощущение того, что речь стала сползать с него подобно (ну-ка, опустим еще пятак в кружку поэзии!) змеиной шкуре, шкуре земляничного дерева, вырастало в уверенность, а вот здесь как вышедший раз следует сказать об ужасе, что коснулся его глаз, а раньше — иное, нечто вроде того как повернуть ногу, а тебя тотчас льдом скуют, и весна потом, и дрожь, и все остальное — словом, как споткнулся вначале, в глубине души допускавший такую вероятность, принимавший ее естественность и правомочность, а перед тем, как с паробрика неудачно спрыгнул, точно миг оцепенения лучами пронизал каждую клетку тела, в котором эхо колесом прокатилось, словно в доме из-под чьей крыши ушли, выехали и мебель вывезли, а после принялся вползать, пятачок как бы, в невообразимое длинное описание, средни улитке, попирая любопытство, и уже не страхом подстегиваемый, но влекомый точной размерностью привычных операций отделения слова от вещи во имя какого-то смысла, в котором, как мы понимаем, нет никакого

смысле, хотя не нам судить, нам в меру понимания слегка насладиться синтаксисом, этим постоянно возрастающим и гниющим садом, тучками отвязанных, ростками отвязанных, кони должно было либо отгибать, — не для нас, мы лобовались! — либо стлаться по лбу внезапных провалов незнания и, уже вовсе не к месту возникающей, страсти. Однако лишние убирались без жалости, — не нами, нет, мы не отворачивались. Доводилось ли тебе, мой ангел, в садах, осенью, сухие оулья, цвели, собрать капли на волосах, дождь, закидается, вечер горит за соснами, и вот цветут в последний раз ликие розы и благоухание их длинно, горько цветут мелкие цветы огня и осени. Разве сожаление? Не попробовал сравнить его с хирургом, но с хирургом, глаза которого закрыты глухой завесой сострадания, а губы растянута, словно у персонажа клейкого фарса — омерзительно подбирает он путь в зеркалах жалости наизусть, руками, и непрстойный анекдот хитроватыми прыжками шепочет ему губы. А ты говоришь — счастье, радость... Ты прозябешь — усталость. А усталость или не усталость, дело десятое. Во всяком случае не наше, хозяин барин любил барана, баран же барина набегал.

После приличествующих раздумий мы даже обнаруживаем, что не усталость. Иначе откуда бы достало ему сил и выдержки именовать многие страницы, которые по причине ограниченного времени упускаем сейчас, попутно отметив: на ограниченном ли создаем (ха-ха!) — перелистывая их, делаем вид, будто жадно узнав всего-навсего, кто застрелил знакомого в серой шляпе на обочине дороги, или что сказала она, сникая, стаскивая с себя платье, в то время как дождь заливал подоконник и то, что час тому тлело в саду, вынывая предельные образы осени, любви, цветов, а теперь обратилось сиротной женой: вот почему с такой усталой, тусклой злобой стаскивает, сдергивает она платье и бросает на пол, вот почему я спрашиваю тебя — не слезы ли стоят в твоих глазах прекрасных, как море ночью, как фарфор, как противооткатное устройство стоядцатидвухмиллиметровой глубины образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года, и, не получив ответа, листаю страницы, где о нас и не о нас, а там где минуту назад было о нас, там теперь о других, и опять первую, шестую, седьмую, снова возвращаемся к первой. Глядишь, как мелькают бумажные листы, смотришь и

смотрим, пока не становится совершенно непонятным — откуда, собственно, возникает Михайловский сад, а на фоне ярко раскрашенных в защитный цвет надежды вязов почти не действующее лицо, о котором он пишет так:

"Несколько лет тому я видел его в последний раз."

Допустим. Бывает. Теплая волна доверия окатывает нас. Не пропускаем. Слова повторятся ниже, несколько изменится, однако незаметно... Затем: "Как всегда на газоне Михайловского сада..." Отточное прерывающее воспоминание, надо понимать как обозначение легкой паузы, коей надлежит сообщить читателю состояние элегической задумчивости. "И я не допускал, что мы видимся в последний раз, — продолжаем читать, преодолевая недоверие, на задворках которого бродит глуповатое суждение. — Опершись / на зонт, он разглядывал окна музея, там — среди тусклых жалюзи искр двигались душные вереницы туманных теней, предпочитавших умирать за красотой в монотонной бессмысленности различных соседств и сообразностей. Моросило. Да, да! Ткать пахоты осеннего немыслия, касаясь пальцами сырых цветов, нежные мертвых, живых нежной в любви. Когда бы я знал, что мы встречаемся в последний раз! Он вошел в мою жизнь совершенно незаметно, как бы приучая... Но никому не называть. Приучая,

перехватывая в урочный час по аллеям сада, переходя от дерева к дереву, от скамьи к скамье, морщинистое горло, шарф в клетку, переходя от дерева к дереву и к скамье затем, когда с непокрытой головой, когда с зонтом, не взирая ни на погоду, ни на сезон. Не очарование вещей, не смена времен года занимали его, нет".

И в главе очередной по счету: "Однажды он обратился ко мне (а в рукописи, насколько мне помнится, говорилось что-то о поспешности, губительной для книги, об ожидании, терпении), поглаживая усы, матовые от мелкой изморози, сутулясь: "И я вам признаю, вы меня больше не раздражаете. Как вам это нравится? Собственно, я живу ввиду погоды. Ужасно, не так ли? Всего хорошего."

Далее он пишет: "Я стал называть его человеком с усами. Виделись мы довольно часто. Причиной тому было отчасти и любопытство, понятное в таком случае, и нежелание проводить вечера в одиночестве, когда все из рук валится, много заня-

ты одним и тем же — поисками ошибки, даже не ошибки, а итновения, искаженного в мновение она нашу жизнь с той, которая... Словом, не важно, все что угодно может стать причиной, и следствие неминуемо унесет, унесет тебя, и ничто не различается. Мучительно не бесплодное ожидание того, что из мирриада мельчайших, случайных событий, отражений их рано или поздно сам по себе соткнется узор, который явит ясность, сравнить которую можно лишь с ясностью инструкции, но и она орнамент и закон, — чудовищно то, что указывало на ее отсутствие — будь то книга на полу, где возможно тлеет подобная история: и глаз впивался в стрелу, избранный ею когда-то — сигарета в пепельнице, запах дождя, вривавшийся в комнату, свет лампы, проникавший неосведомленно в сны, где жгут опавшие листья, где тихий осенний дождь шумит, и дивная горячь дыма, и свет лампы сообщает сну некую таинственную реальность, исполненную неисчислимых подробностей, слов, вещей, ощущений, из которых одно было наиболее выпуклым и доставляло извращенное удовольствие от литературности происходящего, и так далее и так далее..."

Однако притворная непосредственность, фальшивая искренность одушевления, с которой он гонит очевидную лину, разве что мелочным удивлением отзовется — да потому как с первого взгляда и кураку видно, что обыкновенная чушь! — однако как бы слегка вздохнув, играя раскованностью, словно и нет никакого напряжения — вранье! — надеясь ловким намеком, удачным сентиментальным фокусом вернуть тему некой любви, с тем чтобы тут же раскатать ее во всех лирических обертонах, вводя, подстать убийце — с таким же кладнокровием — неспытаемые комбинации; будто болюетный огонек желая засветить, чтобы тот вел нас в тоном меланхолических мечтаний вроде тех, каким предлагаем мы на скорую руку перед тем, как сон разобьет нас, словно порожний кушак, — и теперь брызнет у порога, — когда лунный магантый свет исполняется страшной силой и бегут светлые, нивные ночные облака, о чем он, кстати, не упомянул (но мы не забыли), как бы не успевая дальше и дальше увести по лабиринту следствий от подлинного события, которое надежало бы ему выстроить загода, а не надеяться провести нас на явине мнимой непосредственности незатейливых переживаний,

а тут и глядеть не нужно, чтобы смутить занавес беспомощности, разбавленной на три четверти тем, что, мол, и так сойдет, но не сошло, развалилось, потому что слишком много захотелось: как герои сказки — семь дворцов в одну ночь, да притом, чтобы и лезвие не вошло в шов впадины... Ни демонов, ни фритов, ни длинов, ни колдовских ламп подавно. Пустые руки, и с них точно кожа снята — розовы и гладки. И голы не те. Уж не то, что себя, других не надуть вишней задумчивостью, на дне которой, где муть клубится, — надо отдать должное, — расползается ухмылка безразличия. И это всею как божий день, и неудивительно, что охватившее его безразличие, покорность стало мало-помалу менять очень многое, не успев толком создать, а мы, не замечая того, следовали рассказу о светлых ночных облаках, о бегущей луне, о сперирующей сонном плане-ни, о любви, погружаясь в сопутствующие события, теряя из виду и облака, и любовь, и луну, и черт те знает что, оставаясь то и дело, замечая как бы впрок про себя, что изложение материала стало относительно проще, начало с "партией", где речь ведется о заурядности, очевидцах, свидетельствах, не убрано подреки очевидной неуместности, сокращено только, стянуто, подобно коже лица после пластической операции. Устранены, между тем, и ненужные неясности, занижена образность, кое-что добавлено за счет декларативных ретардаций, словом — заметна работа, что наволит на размышление о прояснении замысла, во всяком случае, если не о прояснении, то о предчувствии оправдания, благодаря которому повествование и обрело тот вид, в каком мы с ним познакомились, перемещаясь, сродни мишенью в тире, на периферии фабулы (или судьбы), ну а как все области отделения — независимо от целесообразности — она здесь обнажена в функционально немудреной форме регистрации того, что говорит действующее лицо с усами, говорит во времени, не разделенном на дни, месяцы, поступалось возможностями испытанной дневниковой очередности, говорит как бы отказываясь от ...

Выглядит это так:

"Человек с усами сказал: "Наверное, вам доводилось читать, что есть люди избранные. Ну, и дамы определенного круга носят им утешающие жемчужные ожерелья. Умершие от тоски. Чего-то там излучает их кожа. Нынче принято говорить об энер-

гиях, биологиях, других страстях. Не это главное. Они заявляют жемчуг. Вот и я, простите за выпренность сравнения, один из них. Я помню на своей шее тысяча жемчужин чужих мыслей и тему себя надеждой, что только в соприкосновении со мной они оживут. Как видите, компромисс между оригинальностью и чем? Интересно, чем же..."

Человек с усами сказал: "Вся культура сводится для меня к умению незазойливо уходить, к умеренному питью вина, нетерпеливому бритью, к свежей постели и небрежительно-беседной беседе с женщиной. Если угодно, величайшим достижением культуры я нахожу возможность подниматься засветло, когда безболезненно можно валяться до вечера. Не возражайте! Бовсь, что для свободного человека слово свобода — пустой звук."

Человек с усами сказал: "О, как легко становится с годами. Необычайна и приятна близость старости. Вначале волнуется, например, искусство, улыбка Лжеониды, студенты с топорами, угрюмый тусклый огонь желаний. Потом волнуется плохое искусство, не хочется приводить примеры. Скоро ничто волновать не будет. Бог не волнуется. Он не ветер, не движение, а я не вода, не тростники... нда."

Человек с усами сказал: "Убить меня легко. Понимающий толк в анатомии сделает это в два счета. Сумма поражений... Люди достигли невероятного искусства в составлении пособий для умерщвления, что говорит, по-видимому, о возрастающей эстетической потребности, ибо лишь убийство, действие, к воюму не приложимо даже определение — простейшее, не содержащее в себе возможности развития, а потому не приходится говорить о предпосылках конца. Каких красот и высот подчас достигают отчеты! Но почему не наоборот? Почему не для обратного? Есть, правда, одно или два, но они почти погребены под заметками на их полях, большая часть которых напоминает пресловутое: "здесь был ямщик..."

Человек с усами сказал: "Я не перебивайте. Я буду говорить о смерти сколько мне захочется, не рискуя повториться. Тема эта не исчерпаема ни трусостью, ни мужеством. Планом на оппозицию Танатос — Эрос, а подумаем о смерти как о рыбной ловле или изготовлении лукового супа. Я буду говорить о ней всю жизнь, как бы длинна она ни была, как бы долго она не тянулась."

Человек с усами сказал: "В 55 году я несколько недель кряду по независящим от меня обстоятельствам прожил на Мало-Монетной у одной особы по прозвищу Муну. Представьте ненужные волосы по обе стороны лица. Ночь рядом с моими глазами ее глаза выпукло-серые, сизо-пепельный рот, будто больной голубь, стеклянные от воды пальцы. Единственное в ней было настоящим — резкий, перехватывавший насквозь ее застарелое неженное тельце стон, когда снилось что или мы предавались утехам любви. Но это ночью, ночью, в час фонарей и сурового ветра, мутящего белые низкие облака, за которыми, словно самое себя выкивая, покачивается хлипкое молоко солнца. Вот вам тема Петербурга, как ее зачастую называют, тема, которую вы искали. Она ошибочно мнится немощерпаемой как и тема смерти, но, в приговоры, ограничена довольно расхожим сюжетом, тогда как вторая — бессмысленна абсолютно."

Человек с усами сказал: "И подменил удачную толпу музыкой. Как бы прекрасна она ни была, ее всегда много. Даже на репродукциях, в знаках, в пластинках. Ее течение шумит по коже моего слуха, не давая уснуть, как некогда толпа на улицах не позволяла забывать дистанцию между мыслью во мне и ее оболочкой, собственно мной."

Человек с усами сказал: "Мы сами с усами. Не позволяйте выяснять, почему элание культуры представляется нам эдакой цитаделью, циклопической архитектурой мечты, обязанной восхитить гармонией, неким всеобщим благом, соразмерностью, увенчанной знаменами религий, шелками нетленными веры? Почему не вособразить ее урономливой хижинкой, сложенной кое-как из обломков природы, отходов незамысловатых потребностей, ну... из картонных ящиков там, зорванного шифера, камыша? И не стяга, нет. Не пелюшки, не монументы! Не гоните от себя образ того, как сгибается в три погибели, стараясь не обрушить смехотворного свода, в лагулу заползает, как червь, человек-промокший, человек-грязный, человек-тоскливый, укладывается и жалко скулит, покуда сон не укрывает его рябью чудом поникшего дерева."

Человек с усами сказал: "В 37 лет — принято ныне считать — он создает свой первый пелюш — "Зброна". В 1681 году отправляется в первое из своих путешествий. В дневнике запись: "у меня был лишь посох, как у странников былых времен, кото-

рые, как говорится, под полночной луной вступали в царство пустоты". Чем были для него эти странствия? Луна его вспоминала странников былых времен... Чем была для него пустота, о царстве которой он так легко и прекрасно сказал? Пессим... Какой же пессим скинула его рука? Трени, пессим, полночная луна, царство пустоты — все же как удивительно это, как грустно и одновременно радостно. Но объясняется ли подобие блуждания, — сравнить аж хочется с осенней паутиной, плывущей над еще жаркими перелесками и полями, — условными целыми, к которым устремлялся, дабы прадать своему припадению толку здравого смысла, ибо лишь соединяя низкое с высоким возможно выйти за пределы того и другого? Записи, стихи ничего не дают нам. Маршруты менял неожиданно, шел к одному — приходил к другому. В последнее путешествие пустился совершенно больным, "едва преодолевая два рю в день". Кто гнал его? Никто. Затем слег, продиктовал ученикам последнее стихотворение, письмо брату, перестал принимать пищу и по истечению пяти дней покинул "выжженные поля своего сна". Будь здоров! Пророс ли твой труп? Или друг человека, собака, в ту же ночь вырвала его своими когтями?"

Человек с усами сказал: "Он уже не нуждается в сравнении, познавая то или иное. Он воспринимает вещь в ее собственном течении, а в колесе, что вращается неустанно, видит только дивно-неподвижную ось. Да, он наслаждается всем, сразу же забывая о предмете наслаждения и потому можно сказать, что он ничем не наслаждается, принося беду и тревогу, но можно сказать, что он и не приносит беды, не приносит тревоги. И нельзя говорить о его просветлении, так как изначально он не темен. Ночью он как ночь, а днем он как день. Путь его короче с каждой минутой, нет нужды в поэзии, ни в остальных действиях, ни в прибавлении к собственному опыту опыта других, ни наоборот. Беседа касается пустяков, молчание его никого не тяготит, потому что ближе чем к кому бы то ни было склоняется над ним лицо Бога, которому он говорит да, если того от него требуют, и которому он говорит нет, когда хотят, чтобы он сказал нет. Такой человек вызывает ужас даже у демонов. Мало того, он любит их, как любят палой листвой, летящей по ветру... Но не потому мы боимся мертвых,

не потому."

Человек с усами сказал: "На каких-то цветных островах, там, где... там, где, словом, жарко, местные жители могут криком убить дерево. Это целая процедура, обставленная с неутолимой помпезностью точности: каждое утро, в определенную минуту, когда солнце поднимается на указательный палец выше пятой слеза горы, надо походить к дереву, наступить на его тем ногой и страшно закричать, закрыв при этом глаза руками, потому что от напряжения может вырваться пуля и, войдя в крик, причинить много зла окружающей флоре и фауне. Если кричать ежедневно, к сезону дождей дерево будет мертво."

Знаете, оказывается я занимаюсь этим более десяти лет рядом - открываю окно и только что не кричу, так как до сих пор, к сожалению, не могу вырастить в себе дерево крика; окружающая меня флора и фауна давно мертва."

Человек с усами сказал: "Я торговал рабами в Египте, стрелял в детстве из рогатки, играл на арфе, рассчитывал вавилонские башни, создавал живописные медееры и пирамиды в Мексике, прекращал и начинал войны, рыдал на стенах иерусалимских, сдирав кожу с пленников, сочинял соннамбулические сонаты для электронно-вычислительной техники. Я устал от человечности. Мне претят музыка, созидание, ремесло, разрушение. Все плачут одинаки и теми же слезами и смеются одним и тем же смехом. К мудрости я испытываю отвращение. Не значит ли, что мед земных обольщений бессильен насытить меня? Не означает ли это, что я стал уголен Богом?"

Человек с усами сказал: "Павел! личность глубоко симпатичная мне. Как-то решил не писать о нем ньюсу. Хотя, право, стоило бы даже не-за одной фразы, вернее не-за повода, благодаря которому он расстался с генералом свиты: "Обрать не-за лица уныние наводящего."

Человек с усами сказал: "Но почему! Почему? В нашем случае нелено говорить о конфабуляции. Кстати, о Батинкове приятно думать как об изысканной нелености, которая в нынешние времена многим не по карману. Став обладателем листа Ван Вей человек вряд ли при всем желании найдет ему место или применение во всех четырех, двух углах своего сознания, уселившихся телевизионными программами и заставленными миниатюрами

на крашеного галса. О Батяшков! Его старательные неточности, перековатости, асимметрия, дактили, скрывающие неуменье... "ты требуешь от меня, мой друг, прогулок по Петербургу. Попытайся тебе."

Их немного, написанных в разное время и с изумляющей робостью — одновременно с чувством восторженности — прозаических опытов. И я полагаю, что роль которую им должно было сыграть в развитии искусства словесности в которую они к сожалению не сыграли, весьма значительна, глубока, благородна. Выискательность и ясность вкуса, верный тон, аристократичность в выборе предмета, то есть намеренный отказ от всего, что могло принести легкий литературный барин — будь то реальная мысль, расклевываемая аллюжированная крылья французского просвещения, неумеренная патетика, либо только нарождавшаяся фабульная перспектива, превращавшая со временем прозу в бесконечную инфлядную историю, обремененных впоследствии так называемой психологией — словом, многие качества, которыми изобилует его проза, вынуждают меня обращаться к нему в поисках..."

Человек с усами сказал: "Петербург, Петроград, Ленинград! Обширное плоское место. И это не игривый каламбур, это географическая, скорее геологическая правда. Чтобы увидеть город целиком, хотя бы большую его часть, нужно мгновенно обратиться к картам, столь единообразно смешивающему память и воображение. Но это не вино, — как вином назвать аптекарское сырье, помогающее нам просто не заблудиться? Лекарство, как бы продолжающее умственное зрение, абстракции которого с таким вдохновенным выдают за нечто сверхъестественное и многозначительное. А призраки... Что касается трагических иль призраков, то для меня они схожи с билетами прогорающего театра, выкупленными, залитыми иной раз краской стыда, но ими пристражили комать одну и ту же комедию. И Блок тоже."

Человек с усами сказал: "Здесь вместо холма и горы — колокольня, да и та на замке. Вместо Галеа — сумасшедший студент в шинели и без нее, не припавший последнего: литография кривоугольного черепичного городка, чьи священные камни напоминают священные черепки, поблескивающие на тротуарах истории. И если Гоголь поднял как-то свои веки, то — кесарю кесарево — так и остался стоять, пораженный блеском зрения, свер-

каждой игрой, напоявшащей игрой рыб, когда сопровождают плавающих, даже если те и утопленники."

Человек с усами сказал: "И различаю два одиночества. Первое, когда никто не видит тебя. Второе, когда ты сам никого не видишь, не можешь, не хочешь. Невелика разница. Но что-то должно ведь их различать... Я не хочу говорить дальше, ибо предвижу неминуемое суждение. И главное, ничто ничего не объясняет. Слово тождественно себе. С этого необходимо начинать, потому как в противном случае мы обречены на бесплодное блуждание по лабиринту, в котором минотавр имеет обыкновение обращаться бабочкой."

Человек с усами сказал: "Вчера приобрел пачку желтого чая. Попробуйте, не покажется. Правда никакой он не желтый, во всяком случае, не желтее черного, но коль скоро написано — желтый, стало быть — так. Хотя что изменится от того, приму ли я красный цвет за зеленый и наоборот? Моя головная боль не изменит присущий лишь ей цвет, боярышник во дворе останется того же цвета, в каком он пребывает за границей моего сознания. Можно выдумать любой цвет. Достоверность его не будет вызывать у меня сомнений."

Человек с усами сказал: "По меньшей мере странно... Вроде бы говорят о Провидении, о Божественном смысле, но тут же бесслесный траур по неким временам, душевная створка или обратная ей лихорадочная деятельность восстановления чего-то — культуры, духа, религиозности, а не то просто вери, глупее уж чего и на ум прийти не может. Не секрет, иногда сами по себе эти гарантии не кажутся чрезвычайно ценными. Согласен, они в определенные периоды необходимы как некий общий климат, вероятно железный историк в такие времена вырабатывают и дух и культуру и религиозность беспримерно интенсивно — уместно вспомнить, как рыцари, облаченные в броню, становились поразительно легкой добычей детей пустыни — так время, постепенно оседая, покрывает слой за слоем, наваливаясь губительной тяжестью, но только если мы начали думать время. Я тому же не только утопленники достигают заведомых глубин. Но слышали мы — связать разорванное время, воскресить отцов, сделать, словно фарфоровые черепки, по-эпохным. Мы слышим: преемственность, наследие, продолжение. Мы слышим много красивого и менее красивого. Но, во-

первых - в порядке честного замечания - существо со склеенным хребтом зрелище весьма не веселое. Веселья мало... Ибо не кости! Не нить! А во-вторых, неучто не понять, что вера истории не время, чередующее возмездие и воздаяние с методичностью маньякальной машины, тогда как провалы, отсутствия, зиянья - суть те же непреложные связи, сочетающие бытие в текст, который мы читаем всегда впервые, не подвластный ничьим представлениям, включивший нас задолго до нас, хотя даже и в таком виде - предусматривающем неисчислимое количество комбинаций - он не полагает иного завершения, нежели в пересечении с тем, что мы называем Не-Историей, с тем, что служит убежищем святым, божественным. Но что разнот святого и политика? Лишь в пересечении, когда вспять, как в перекрестии оптического прицела, возникает точка разрыва. Назовите ее пушьята, плерома, апокатастасис и так далее, мой друг, и до тех пор, пока не скажем, что у Бога в руках винтовка с оптическим прицелом. Можете взять напрокат бинокль и понаблюдать."

Человек с усами сказал: "Во всей этой беллетристике заслуживает внимания одно - отношения Христа и Еуды. Все остальное смахивает на литературу, если забыть, конечно, что ничто ничего не объясняет. Но дело обстоит иначе. Они начали диалог, которому еще долго не кончиться. Мы скажем, что практически он бесконечен и потому в некоторой степени движет все повествование, возбуждая воображение недалеких художников. Впрочем, я намеревался сказать другое, я собирался говорить о двух истинах, о двух достоверностях, но мысль о капитане, принадлежащем небезызвестному Трифону, не покидает меня."

Человек с усами сказал: "Я видел в своей жизни немногих стоящих поэтов. Однако те, кто на мой взгляд, действительно поднимались над уровнем чувствительной болтовни, относились к людям, мягко говоря, странным. Один из них, создавший в минуты трудной трезвости, надменное, помеченные языком солнца строения из природы растений, слова, взмывавший из них не только скрипучие мушкетеры сакральных универсалий, но и самого себя, натягивавший между словами в иступленном терпении нити человеческого существования - страдал

геллофобией. Нередко говорил, что от одного только слова еслице он сплетает, а уж на улице его просто тошнит от одного вида деревьев, которых он боялся в той же степени, в какой презирал птиц. Все свои длинные пальцы, зачастую невразумительные поэмы отстукивал на пишущих машинках где попало, прерывая в скорости квалифицированных машинисток, чем гордился вне всякой меры. Сен-Жон-Персе, однако, не любил, находил слишком экспрессивным и многословным."

Человек с усами сказал: "Наверняка я не побывал ни во Флоренции, ни в Венеции, ни на Корсику. Я не увижу рельефов Византизму и развалин Кносса. Можно было бы переживать и сетовать по этому поводу, но удивительно другое — как-то будучи, не помню зачем и почему, в Москве (к ней мы еще вернемся при удобном случае) зашел в музей и за стеклом на полке увидел статуэтки критских криц. Как рогами была, изгибаясь спиной, словно стебель по ветру парит и т.д.... Помните? Волосы Медузы, режущая снежная пена. За окном едва слышно шумели кусты сирени, неслась пыль. Какая скука охватила меня при виде глиняных фигурок на полках! Какая скука... Потом в поезде я высказал проводнику мысль о книгах, написанных не только тысячелетия назад, но и вчерашних, на что он ответил — "да что книги! возьмем и примеру..."

Человек с усами сказал: "Если бы я начинал жизнь сначала, я бы начинал ее китайцем, а может быть католиком, иезуитом. Вы правы — дистанция, которой я придаю такое значение, к тому же латинь, другой язык, что в сущности тоже дистанция. Замечу, что язык изучать менее унизительно, чем историю, не взирая на то, что и он обнаруживает курьезную бесконечность. Во всяком случае лозь языка с натяжками возможно отнести к поэтическим полнотам, в то время как лозь истории не объяснить природой метафоры, ни в чем не отнести, ничем не заменить, ибо титул истинны, коим ее оделяли раз и навсегда, вызывает раздражение, не более. Не следует забывать о рационализме. Вот например аббат Ф., по свидетельству Игнатия Лойолы, долгие годы поливал сухое дерево во дворе. Каков Кирдзали!"

Человек с усами сказал: "Я прочел вчера то, что вы мне дали. Хотите знать мое мнение? Не будем трогать художественную сторону, она мало чем интересна, равно как и капля дождя,

и осенний сад, и горящие кусты под — конечно же! — серебристыми ночными облаками. Относительно остающегося скажу, что вы любите своего, вам не будут верить. Вы прославите не-добрым человеком, сядите вокруг себя сомнения, путаницу, потому что, прежде всего, не выдали себя за меня, не дали понять, что написанное вами является игрой воображения, полетом фантазии, кишки словами отказались заработать на продаже собственных мозолей. Литература, как правило, страдает от тесной обуви, но все — в ногу. А тому же где ваш Единственный Слаг? Где Алтарь? Где, в конце концов, Идеалы?

Человек с усами сказал: "Расскажите-ка, любезный, в Париж. Там есть все."

Человек с усами сказал: "У меня оказывается кризис идентификации. Не пугайтесь, не чума бубонная. Я просто нервный. Под моими окнами вот уже как два месяца грехочет компрессор. Апрель, мертвые деревья... Я умираю от насморка и на службе, так я не воспею, не воспею какую-то — вот! — красоту чего-то."

Человек с усами сказал: "Я бессмертен и это меня утрачивает. Не исключена возможность, что гвардия съедется, но не умирает."

Человек с усами сказал: "А что это мы с вами — пиво, пиво?... О нет, не лейте из этой бутылки, у вас в сумке херес. Да. Дюкль, херес, пиво. Давайте в дерюжку сходим, посмотрим, что там делается? А ничего там не делается. Там давно сделано, а это мы с вами ковыряемся и ковыряемся... Да не проталкивайте пальцем! Стопор же есть..."

Человек с усами сказал: "Решил обречь усь и жениться на херсонской студентке филологического факультета. Милая стриженная головка, жиннон. Множество приятелей, читавших по слогам Бахофена, летом рыскавших в поисках Намбала. И что с того, что у меня красавица жена? В том-то и соль, что когда живешь с красавицей женой, у которой любовники свободно декламируют Хайдеггера, поэт Ясперса, побрякивая ключами от Агарты, в том-то и дело, что когда встречаешься с ними, вам просто смешно смотреть друг на друга. Когда живешь с красавицей женой, просто непонятно как хочется жениться на херсонской студентке с филологическим уклоном. А то еще заморозил..."

Человек с усами сказал: "Я за скрупулезное чтение. Я завидую слепым. Их пальцы дисциплинируют мысль, наделают ее необходимым обилием."

Человек с усами сказал: "Надо же! Оказывается, его принимают всерьез. Но, помилуйте, апломб его может поразить воображение разве что учащихся литературных курсов. Вы знаете такого рода курсов нет? Есть. И там они, усердно сочинявшие новости из современной жизни города и деревни, бывшие над тайнами поля, они, люди проблемы, начавшие читать Гоголя по пособиям для глухонемых, несомненно будут ошарашены, столкнувшись впервые с полнотой и так называемой изобретательностью Набокова, не отдавая себе отчета, что в чудовищной смеси Львиаса Керола и П. Чайковского, страдающий ревматизмом каскадер все свои усилия лезка направил на устранение поражений в сфере чистого мышления. Бесспорно, Набоков вершина "дачной литературы", не лишенной, к счастью, некоторых прозрений. Мстительное престижительство! Часовщик по иронии судьбы, носящий имя Х(арона) Ронсона. Грустная картина заманганного курвала, чемпионат судьбы, подлиннее от многолетнего дождя карты. Прибавьте что хотите. О щедры, о наяд, — хочется воскликнуть мне и прижать его к груди, — он так и не написал книгу, приблизившись к ней, запутавшись окончательно в отдельных страницах, в мечте о книге, достигнув мастерства и совершенства в искусстве обиняка, посвятив всю свою жизнь зародым отращения к слову, но тем не менее слепе веривший в его магическую способность —

так физик, назначивший "тот самый, решающий эксперимент" на утро следующего дня, стоящий на пороге "того самого открытия", крадется ночью в цыганке задворками и просит погладить на бубнового короля энергии. И все обстояло бы не столь плохо, если бы физик не начинал угадывать в карточной фигуре свои черты... Если бы Набоков..."

Человек с усами сказал: "Забывайте, забывайте, мой милый, все на свете. Может быть, так нам сушею умереть."

Человек с усами сказал: "Ложь мумифицирует истину, она дубильное вещество, необходимое столь слабому составу как истина. Какие паноптикумы!!"

Человек с усами сказал: "Наступит осень, за осенью придут дожди, потом зима и так далее. Это ничего во мне не ме-

няет. Осень, зима, дождь приходят как гости. Порой я рад гостям, порой капризничаясь больным и не отираю, иногда не замечая. Где мои друзья? Почему они покинули меня? Меня томят дурные предчувствия, а более гаупого состояния я не знаю."

Человек с усами сказал: "А редактор — тот же актер. Какой ужас!"

Человек с усами сказал: "Предчувствия, думается мне, результат обыкновенного намерения признать случившееся."

Человек с усами сказал: "Только мы сами себе кажемся безмерными и бездонными. Другие ограничены как бы нашей бесконечностью. Заметьте, как литература строится и безликости персонажей, прибегая к уловкам, маленьким коротким хитростям, скрупулезным описаниям внешности, платья, привычек, поведенек. Видно, это одно из ее основных правил, законов, оснований на несловном представлении о человеке как центре любого течения, разумеется — в различных традициях с некоторыми отклонениями. В любых произведениях любых времен мы не перестаём сталкиваться со своей жизнью. И вместе с тем, есть какой-то очаровательный секрет в том, что брошенное вскользь одно, другое замечание совершенно не относящееся к внешности персонажа, ценно заманивает и держит в сознании читающего вполне определенный образ, мерно обтачиваемый повторениями памяти. А потом, смогли бы мы поверить Сократу, обладая он лицом Леонардо да Винчи? Как знать. Равновесие лица и тьмы, стоящей за ним, которую мы зовем духом, крайне непрочно, обманчиво, но оно есть, обусловленное противоречием — любим, — на наш выбор. К тому же фактор несуществующего лица тоже немаловажен."

Человек с усами сказал: "А сузил сознание, трюизмы моя страсть. Я понимаю вполне, что не достает вечности хотя бы приблизиться к одному из них. Все проходит — я повторяю себе ежедневно, а что толку? Какая печаль в этих словах! Какая печаль от того, что современней смысл их ускользает и будет ускользать без конца, пока жизнь моя не сузится до простейшего вздоха."

Человек с усами сказал: "Трудней, непосильней становится записывать в тетрадь, в дневники... Боже мой, да кто же ведет сейчас дневники! Нет. На случайных клочках, с трудом

разбрызгивая почерк: "шел снег /в позапрошлом году точно такая же зима, память о памяти/, шел снег, и не пугавшей тяжестью лежал на плечи. От ровных потоков, спускавшихся сверху, покачивались решетки садов. Вязы наполнялись чудесными глубокими тенями, продлевавшими их ветви, наделявшими их изгибы сумеречными, неизъяснимо-легким прикосновением. И опять — вечером, в пору, которая суждена испокон веку как час раздумья, ожидая перед наступающей ночью. Вечер, говорим мы, это осень дня. Не хвост уже, не трепет его, не снег летящий косо, а потом падающий умирая в свет собственного свечения, но мысль о нем образует нечто иное, неведомо они сами по себе значат. И опять это найдено вновь, найдется еще раз, и опять отщипнется невинно в случайном вздохе, пропущенном восклицании, ускользая из-под власти звучания, слова — тесной, короткой — устремляясь в серебристое пространство прадощения речи, которое разрывается порой — молния так вливается и разрывается ткани глаза — весельем надежды. Не случится обернешься не так, чашку чай опрокинешь, муха влетит с нагретой стены и, точно сухой желтой травой порастет сердце — Симонетта Беспучки мертва уже как столько-то столетий. Что же это! Ведь ее никогда больше не будет! А муха, чай, стена, некто — человек, вероятно, будут. И сохранились ли ее кости, ее череп, в какой глине, в каких камнях, среди чьих костей? И все та же земля, все тот же свет, ночь. Поднимешь чашку, утреешь колени, проводишь муху взглядом и тогда возмутно косою гремницей — уж ни до кого дела тут нет — такова естественность, такова форма, ущемляющая и ее кости и ее красоту и твою память и муху в одном. Это и есть второй удар, это и есть хвост дракона, исчезнувшего в снегу. Падая снег, от него сухо в лице становилось. Обрезавшиеся глаза, острый — клювом быстрым — кивок, и, будто ниоткуда, хрипловатый смех, точно все простили тебе, теперь — свободен. На-за плечени снега, на-за следящей глаза зимней звезды, оттуда идем чего-то, идем. А после туманные мелкие мысли о старости, несколько робких почти чужих воспоминаний."

Человек с усами сказал: "Многие из моих друзей занимаются тем, что населяют прошлое призраками настоящего."

Человек с усами сказал: "Не будем притворяться. Никогда черепаха не догонит Ахилла. Никогда. Может быть Ахиллу чере-

наша была нужна, может быть он питал склонность к супам и хотел ее съесть, лелея мечту соорудить из панциря музыкальный инструмент, подобно Гермю. Трудно сказать... Но черепахе, странствующей в небесах и по земле невестом Ахилл. Поверьте, суп из Ахилла всего лишь зурная игра ума. И так далее... Зной, дорога, синее солнце, вода..."

" "

Здесь мы подходим к концу нашего начала, в котором уже брезжит слабый свет нового начала, готового вспыхнуть при удобном случае следующим концом, тьма которого (или огонь) осветят путь, пройденный нами (или придуманный нами) и даст еще раз возможность убедиться в том, как запутана прямая линия, как прерывисто то, что мысля неразрывным, слитным, целостным, но связано несходное и отстоящее друг друга, противоречивое и необязательное. Рано или поздно, прибегая к чужому опыту, сформировавшая свой, человек обретает силу и теряет слабость, следуя от подозрения к твердой уверенности в том, что мир, окружающий его, мир, цветущий речью, явь, сплетенная из поступков или поступков, отталкивавшихся даже неучовинному дуновению, эта подчас очень сложная архитектура движений — поначалу в некоем недвижимом, затем движении в движении; архитектура, чередующая неизреченные пустоты с грозными распадами разуму вспыхивающими множествами — закон, выпущенный на осях единственной реальности: небытия и боли, а что он постепенно становится домом, в котором существуют угрюмые уголки страха, заброшенные залы сновидений, в котором находится место стеклянным лабиринтам ненависти, садам Танатоса, изогнутой тишине Эроса, бараньему супу, книгам, музыке, безумию, бесам и отраженному бесчеловечию **о г р а н и ч е н и ю**, маршам повторений которого пронизывает бесконечность, личная человека мгновенья, пронизывает и властвует, как средостения постепенно становятся сущностью плода, вначале формируя его, а потом уже обращаясь им. И стал бы этот дом склепом игры, когда бы не возрастающее день ото дня ощущение: не поверачиваться спиной, ни за что, ни в коем случае, и

глазам не верить, и слуху не следовать. Иначе это напоминает ветер, говорят те, кто знает, или говорят, что знают. Ветер бывает тихе благостен, несет пыльцу и влагу. Ветер бывает леденя и низок, ветер может быть высоким и светлым — тогда сердце наше погружается в то, что как бы неподвижно и холодно, и мы говорим тогда обычно о смерти, хотя никакого отношения к смерти высокий и светлый ветер, дующий с холмов, занесенных снегами неба, не имеет. Ветер может быть красным и дуть глухо и тяжело в лицо, когда ночью, увязая по щиколотки, по колени в тончайших россыпях золотых песков ты прилежешь к черному, уходящему за фосфоресцирующее сияние, свопу, на котором кипят, играет слепое солнце. Но вот уже не ветер. И тогда, именно тогда ты поворачиваешься спиной, забывшая, должно быть; ожидая, что в плечу сойдет, возможно, сладчайший плач, а вместо него с янким, — говорим: восторг, — хрустом, ослепшая великолепный огненный круг свершения, топор разбивает твой хребет, этот великолепный стебель Лед, и речь цветет вновь на камнях, на бумаге, в памяти, в горле; о любезные братья, возлюбленные сестры, и вы, родившие меня, поведаете, как двигаться дальше, как тяжел мне свет, что движется медленно навстречу, как сухо сердце! — раскачиваются хрипные басы и скорческие альты в пританцовывающем коридоре послесловия поезд: так тоже можно сказать, легко приняв назад, потому что ни назад ни вперед, и не медля спросить — не тогда ли твои губы складывают из веноза, чешуя которого пахнет слезами смолы, мычанья луны, слезы веселья на костях, иглой источенных согласных, вдоха и выдоха единственное слово. Вероятно. Но не кажется ли тебе, что уже поздно? Ах, и времени, оказывается, уже нет? Снилось в ком? Известное дело, нет. Но случилось? Нет. Быть такого не может. Нечего скрывать, случилось. Снилось, говорю я, в детстве, давным-давно. Именно ему не было, а потом сразу же другое случилось, будто родители умерли, и слезы текли во сне по щекам, — необратимость и ветер, — подушка, сбитый пододеяльник, рассвет в студеное окно, зима некоего, удаленного от условного сейчас года. Одумайся, какая война! А что же? Кто его знает — что! Но утром, понимаешь, все здорово, день чудесный, журналы старые соседа, вышедшая из употребления литература,

в железе быстрее обути ноги.

Из фортепьянной тарелки, из траурной болотной петунии новостей — трам, нам, нам, тетя Мура — трам, па-па, для Витя туда же — трам па-па. А тетя Мура как шла по Среднему, говорит, паа, и говорит, не надо мне больше ничего, закрываюсь, говорит (подумала) тетя Мура, а тут машина летит, мотор работает, снег сверкает, железом быстрым обути ноги, а в машине, вадать, елки везли — вот оно что! — новый год, выходит, наступал, и елки повезли, привезли елочки, и очнулась я, говорит тетя Мура, поднялась и пошла двигать в чугун обутие ноги, и сказала потом тетя Мура, что запах поднял ее, хвойное дупление, ветерок провального шильцем кольнул, окло сердце: новый год, счастье новое, и те, кто направо ушел, вернутся, и те, кто налево пошел, тоже вернутся, ах бросьте! ведь это надо понять, надо! только потом, потом, потом, говорит, узнала, все узнавала, всеобщее образование, узнала, что так этот, как его не формальде... нет, не этот, а тот, чем мертвых заливали, раствор так, говорит, пахнет, елками значит благоухает, вот, говорит, я, как кукушка, прокукував годы несметные жизни, в гнездо бумажное громкоговорителя, в треньканье — иври! Но что вы сделали с Александрой! Что! А что, собственно, мы с ней сделали? Две утренние звезды — глаза ее плавали в прозрачном теле, словно в озере. Мы ничего не делали. Огонь все сделал. Коробку выдали. А с коробкой что сделали? А не ваше дело, что хотим, то и делаем. Ты задрагиваешь?

Ты просыпалась ночью, старалась не разбудить половицей, полной стеклянных зерен сновения, рукой — лицо трогаешь, глаза, на них веки лежат, а на глазах ночи веки не лежат — срезаны веки. Лицо спокойно, тиха ночь, тиха и бела. Я хотел, я хотел, видите ли, вот что... Я и вы, мы, словом, хотели задаться вопросом, и мы вправе сделать это. Я хоть скоро ничто нам не помогло, мы спрашиваем: кто он, человек с усами? Как соотносятся реальные, монолог персонажа (волей случая либо по прихоти надолбанного усами) — с началом, скажем, восьмой главы романа, наданного спустя пять лет после того как, фигурально выражаясь, эмее были подмалеваны ноги — в книге, к которой человек с усами вроде бы не имеет и косвенного отношения, следа нет его там, а на обложке пусто, починки сеется,

ничто скучное, лишнее, лишнее, в духе родной полиграфии. Стоит ли говорить о внешнем сходстве и внутреннем тождестве, рассуждать о развернутой метафоре? Отдавать одному предпочтение перед другим? Чужь. Надо сказать, что книгой особенно никто не заинтересовался. Вполне закономерно, поскольку книга содержит ряд моментов — не позволяющих возможности читать через плечо автору, — казавшихся случайными, искусственными, личными в лучшем случае. Вот, кстати, царственная надпись: "Поживем-увидим." Я бы написал лучше. И вы бы написали не хуже, а может быть и лучше меня. Равнодушие, с которым была встречена книга не огорчало его. По-моему, он даже кому-то сказал, что несовершенство, в котором упрекает роман, выполняет некую защитную функцию, не позволяя забираться ретивым умам дальше. А когда позволил спросить его об этом, он ответил: "Да нет, слишком глубокомысленно. А впрочем, так и слухов меньше, ну и равное такое..." И действительно, равнодушие книга не вызвала, несмотря на то, что была, конечно, в ней места, говоря мягко, написанные слишком вынуждено. По-видимому, чтение этих мест подвигло какого-то критика по фамилии Моргунев заносчиво заметить в обзорной рецензии, что роману "Цветы и птицы" еще не пришло время. Но одновременно с первой рецензией появилась другая, где доходячиво высказывалась мысль о том, что книга молодого автора "Цветы на обоях" может порадовать только тех, кто не сумел приобрести билет на самолет и вынужден отравляться в отпуск на поезде, так как книга совершенно спокойно читается от конца к началу и с начала к концу. "Время ее, — извительно замечает второй критик, имея в виду, очевидно, рецензию первого, — не прошло и не пришло."

Помнишь, я тебе тогда сказал? Я сказал что-то о птицах...

— Ты сказал, кажется, что вот так и птица своей тенью перескакивает поток, реку, движется где-то вверху, а тут тень плывет. И она, сказал ты...

— Помню. Глупо, конечно...

— Ты переживал за него?

— Что значит переживал! Да. Роман никуда не годился. Потом, когда заняло переводом, он пошел на уступки, но все равно. Не в книге дело. Я хотел сказать о птице и вышло глупо... Она не тревожится — вот как — и я сказал, что ее не

бесповорот, где летит ее тень, пересекает ли она воду, отдели, касает ли мусора равнины, холмов тосканы, соломы, дохлых собак, камня — ей все равно, куда и зачем эта река льется, и те, кто, противопоставляя силу, волю, страсть течению, чередуют ярость с унынием, тоже безразличны. Она вот мелькнула, но напоминает и калитник...

— Мы жили Санерани, я помню.

— А до этого утром шампанское. Я был безумно богат и обожал твою соломенную дурацкую шляпу. Ты ее не снимала даже потом, когда разгуливала по комнате и полостенце на бедрах, а тем, кто звонил, ты отвечала, что нас нет, а если есть, то все равно никакого толка от нас не будет, потому что мы голые и занимаемся Санерани...

— Я была похожа на пени в ялице...

— А в завершение сообщала по секрету, что я худ, как щетка, и веду себя на слабую четверочку с минусом.

— Ну да, а ты говорил всем, что я похожа на боксера после встречи, боксера, побивавшего в поединке. Погоди, ты еще говорил про главное правило?..

— Когда тебя уже достали, ни в коем случае не верь себе, тебе грозит ступить, например, влево — ступай вправо, иначе скидывай тапочки.

— Но знаешь, ты был страшно умен и я тобой гордилась. Я даже помнила это правило, но забыла, а праться не пришлось ни разу. И вел ты себя на вирную четверку с плюсом.

— Я очень хорошо, что на следующее утро он пришел и принес книгу с надписью.

— И книга была хорошином.

— Постой, постой, а потом ты ушла и нему. Пожали-увидели. Поговорили... С другой стороны, как сказано — так и будет. И следует ли акцентировать.

— Удивительно, ты ни разу не слышал мне, и потом тоже.

— Устье, сверкающее так, что глазам больно, плесн, а она летит... Брунда.

лишний раз, что во всех существующих романах, где множество лиц вовлечены в орбиту мистификации... Однако почему бы не обратиться к следующей записи, сделанной им несколько позже, то есть, когда человек с усами таил в мечте о будущей книге,

но была только мечта, в которой эта книга переживалась, словно волшебный узор воды под ветром: "Я воображаю начало, — записывает он, — но вместе с тем необходимо понять, что ничто ничего не обозначает, не объясняет, когда начинается иное, к которому, как к павсу, сводящему в точку окончания бесчисленных сторон света, направлено острое усилие, вынужденного любовью. Как к узлу крови — нем. Прямой или изогнутый, а сам по себе: ну что он! Ничего не обозначающий кроме верности /в слове "кроме" вместо и была написана в, после выправлена/, заключенной в более чем для того требуется совершенную форму лезвия. Свет, у которого нет источника, я не могу кривить душой, заявляя, что знаю. Любое чудотворное, абсурдное предположение естественно продолжает ошибающееся зрение. Слово тождественно себе, и с этого нужно начинать, но и с другого следует начинать, с много, постоянно начинающегося, обозначенного не заглавной, но прописной буквой, с крохотного зародка. Со сквозняка, узкого холодного луча. В если бы была возможность найти буквы меньше меньшего, меньше представимых, я бы прибегнул к ним, хотя какой же вздор! При чем тут буквы? Испускание заблуждений? Каждая строка, каждая из вещей, окружающих меня в полной мере может служить точкой отсчета, в которой сосредоточено равновесие. Признания исповеди, восхваления, хула, умиление, восторги, цепляясь одно за другое, складываются в картину сложного, вверх илучего, отвесно падающего вниз мира, где все из пределов. Он прав /скорее всего обо мне/, когда о средостениях. Но я понимаю, Боже мой, как я понимаю, что происходит! Дуновение, беспокойство летит к нам, ничего не освещающий свет, но мы идем явным пониманием, мы создаем слух..." **Винс**

Надо сказать, что чувство меры несколько изменяет ему в этом отрывке и, наверное, поэтому он нецеловоль начинает снимать тон и безо всяких объяснений переходит к описанию событий, связанных с урной праха уже известной нам тети Шури, и это ему определенно удастся. Точно и немногословно он рассказывает от лица участника эпизода о том, как урна опрокинута нечаянно, как прах высыпался на пол многолюдного в этот час кафе, как принялись все стрепать его со стола и с пола, заодно стрепая обгоревшие спички, прах следов челове-

ческих, крошки, оставшиеся от бесконечных трубочек с краем и тому подобное, — так уже никому не спешили, решая задачу, стилизм, чисто философского характера, как наступил вечер, ночь и утро. Что сделали вы с Александрой? Мы вернули тебе нашу бабушку! И если ты повсюду, она тоже повсюду!

Конечно, ни эта, ни предыдущая запись ничего нового нам не открывает. Пожалуй — настроение, атмосфера, в которой исчезал человек с усами, словно на катере, лайнере к берегам островов, к туманному Альбionу отплывая, оставляя в наших руках шутливую обрывок сержанта. Да кто он такой? Зачем возник, потом как в воду канул, как в тумане сгинул?

Дым, туман, пар зеркальный над каналами, дом в реке отражается, никого нет.

И не туман вовсе. Смотрим словарь архетипов имени Олга. Старуха. Так. Старуха опять. Вечное возвращение. Старуха с усами. Меховое колесо. Чай... Баранья нога. Арца. Буква че, буква че, и фе, це, пе, че, че — вот. Человек, человек бритый, великан на дереве. Почему великан на дереве? Ваша милость напутали-с. Он же, великан, с ве, а не с че... Нет, туман, толка никакого.

Осень, туман, низы, как молоком, залиты, сырость, вечное возвращение в город. Михайловский сад, наезд, крупный план, человек с усами. Но как из этого, на глазах вешающегося хлама, возникает природа совершенно отличного чувствования? Как фотоаппарат поставить в толпе, взвести затвор, протянуть ниточку к спуску и уйти на телеграф, и дать телеграмму о том, что фотоаппарат поставлен, ниточка к спуску проведена, а теперь "прощай", теперь "возвращаюсь к сетям своим", к камере, к ящику, в котором ждет своего рока тьма, чтобы ринуться в свет, и проявить, и напечатать, труп в кустах увидеть; как очаровательно застыли мы в солнечных вихрях, и так далее, и прочее и прочее, что, откровенно говоря, тоже мало устраивает. Точно так же можно тыкать наугад в штекер без конца, довольствуясь заурядными совпадениями, зарифмованными положениями. Пожалуйста, на выбор: читаем —

"Альбизий своему сердцу друг, — начинает он восьмую главу, — Помнишь ли ты как сетовал я зимой на странное, средни веселье проливных, изумление миром? Те, кто будут читать это письмо, а будут читать многие, поскольку — это книга,

а книга пишется для того, чтобы читать, они (кто знает!) не поймут, что я говорю именно о тебе, с тобой не в книге, не с тобой, кому предстоит понять, насколько неуловима плерейца перемен, а с тобой за пределом этих страниц. Я кончил книгу, была зима, а ближе к окончанию работы росло удивление, о котором не рассказать, оно ширилось, отнимая силы, столь необходимые для того, чтобы закончить последние страницы, которыми я собирал для себя еще неведомую жизнь, точнее, которая должна была, полагал я, кликнуть сразу же после последней точки и смести этот прах, пыль, что зовется литературой. Но книга еще не была книгой, она нестрела словесным восклицанием и утомительными описаниями, — нет, не время выигрывать! — и несообразностями; она была рукописью, не обладавшей еще неукоснительной последовательностью, ибо я мог собирать и разбирать ее, как часы, то ускоряя ход событий, то замедляя его до вечности. А потом зима кончилась. Нелегко объяснить перемену с наступлением лета. Они вторгаются в налаженное, лишенное признаков пресловутого движения, чередование дней и ночей.

То ли что-то (надеюсь, простишь мне обилие неопределенных местоимений), не имеющее (а если когда имевшее, то благополучно забытое) имени, оставленное в наших телах, пытается жить и, раздвигая ороговевшие ткани космической телесности, стремится к полному свету, избавляя от насущности останавливать свой рассудок на том, что Сократ почитал единственной целью разумного человека, а может и другое что... Как, например, яхты, которые два дня тому я наблюдал, прогуливаясь по Благиному острову.

Совершенство, благородство их форм, сочетание необходимости и лаконичной простой прелестью, знакомых мне устройств, — хотя размещен в среде, давшей им форму, без труда возможно понять их назначение, в сущности одно и то же всегда, но в этом случае исчезала бы прелесть и очарование, и вместо таинственных, ограммированных музыкальными инструментами под стать, устройств я сравнивал бы одно с другим, вводя такие понятия как прочность, функциональность, необходимость, способность к защите. Твоя жена прекрасна. Твоя жена приводит меня в бешенство. Иногда я недоумеваю, потому что не требуя доказательств, яро, выпукло знаю, что

ни она, ни ты, ни вы оба, живущие — как раньше принято было говорить — в одной жизни, замкнувшей нас, как раковина... Почему бы тебе не оставить навсегда свои фальшивые усы? Зачем тебе снимать их каждый или вечер в ванной, напевая эту идиотскую песенку о бураке на холме? Почему бы тебе не остаться навсегда, откуда ты приходишь и снимаешь усы, распевая во все горло; не остаться, как однажды ты сам говорил, уйти и остаться нигде, потому что и отчаяние, стерегущее за каждой тенью, и государство, играющее лилейной казны, и нужда, напоминающая любительские мутные фотографии, суть нигде.

Но ты прогуливаешься бы по Благинному острову, ты слушал бы моническое холодное пение снастей, переходящее в морский голос сирен, и всок таял бы в твоих ушах, не нужный более, потому как н и г д е не предполагает возвращения. Ты бы увидел чаяк, несущихся над изломанной поверхностью залива, ты наблюдал бы расщепление в капле луча, и открывал бы сердце уходящему на запад солнцу, о котором столь часто рассказывал всем, кому было не лень тебя слушать. И все вместе представилось бы тебе некой целокупностью, взыскуемой тобой полнотой, той невозможной, лилейной, не утраченной до конца памятью, забывшей, однако, свое начало. Предлагаю тебе окончить чтение, так как с этого мига, со слова память ты вновь становишься действующим лицом моего повествования, и тебе должно следовать установленным, над которыми ты не властен, а если очень пожелаешь, в трех словах расскажу остальное. Будет стоять жаркое утро августовского дня; помнишь, как оно наступит? Я позвоню в дверь, а мне откроет она, смущенная от того, что на ней одно полотенце (и в гробу буду видеть ее такой, как в это утро) — пальцы еще на ручке двери, тень передней, а там, за ней, за тенью, в солнечном, желто-ослепительном проеме плавают ниланки, ее слегка откинутая голова, чуть напряжена шея и ясное впадина у горла, и опять-таки легкой дневной тенью залито ее загоревшее тело, чудесно лежат груди, завершающие сосками, а они светлее, и которые, удерживая себя непонятно каким всматривавшимся торжеством лунным, я не целую — не головокруженьем ли мгновенья, кольцом загоревшимся в воздухе? Ты будешь валяться на диване, и от сквозняка зашелестит, зашепчет страницами приколотыми

стена, чудовищный гербарий белого цвета, посеченный машинным письмом. А я войду из прихожей и, прикрыв глаза от почти полуденного блеска, услышу как закружись. Ага!!! Крикнешь ты. К нам пожаловал писатель! А подарить преданному другу экземпляр. И чтобы дарственная надпись, чтобы с мечтой и упованием на будущее. Скажешь ты, пропегившая вопросительную интонацию, как нить без узелка. Писатель. Скажешь потом. Ответь мне. Смог бы ты описать вот это утро. Нет, не осень, не поздний вечер и горький благоуханный — и как там у тебя? — дым горящих сучьев. Не бледные облака, летящие с птицами под луной. Не кажется ли тебе, что слишком много облаков, больше, чем следовало бы? Нет, утро, писатель! Это, никакое другое, не просто какое утро, а это, которое будет отдалено от тебя неведомо насколько, и в негоию за которым ты пустишься, непонятный понятием обольщением. Описать, писатель, становление этого дня. Разве достанет тебе упрямства утверждать, что не об этом просили придворных поэтов монархи, а те потом не влияли у провинция подобного дара. Но возможно ли это, писатель, либо мне кажется? Да. Возможно. Не надо. Скажет она и подойдет к тебе, а глаза ее будут глазами любовной горюхости; и не скажу, чтобы мне было это небезынтересно, я еще мельком замечу про себя: какую бы несуразность ты ни сказал, она подойдет, и, стало быть, дело не в сущностях, не в вечных ценностях а не в том, что можете из постели не вылезать годами, а в том, что я понял, и что делаю, описывая это утро. Но ты, даже не счита за труд прикрыться, потянешься к ней и усадишь с собой. Ты снимаешь с нее полотенце. Не надо. Скажет она. А сначала подойдет к тебе, и ты с неожиданной — где у тебя находится всему насто! — безучастностью, которую так легко издалека принять за нежность, снимаешь полотенце, опустишь на пол. Не стоит. Скажет она. Смотри. Скажешь ты. Вот она. Можешь ли ты приблизить ее, писатель, как приближал ее к себе я. Ты знаешь, я даже позволю себе пронаести — любовь. Скажешь ты и обнимаешь ее. Приблизить и удержать, писатель. Не надо. Скажет она. Не надо, милый. Так не надо. Скажет она. Нет. Скажешь ты. Это невозможно. "Позвем-увидим", маняшу я на титульном листе и отдам книгу — тебе одному, на долгую память, что и предполагалось.

Заодно разреши возвратить столь любимую тобой мысль из поучения Тайоми-Но-Кама: "Ты должен следовать за движением

его меча, оставляя ум свободным, незанятым, предоставляя ему самому без вмешательства и мешать. Ты двигаешься, как двигается твой противник, и это залог его поражения." Стоит ли тебе читать дальше? Жить и видеть — не значит читать, но поразительно, не так ли? — читать это жить и видеть. Странно, кого будешь винить?"

Далее следует забавное описание похорои, какого-то не совсем вразумительного примерения, которое заканчивается необыкновенно скучным описанием альковной сцены времен реставрации, идут вымученные параллели, аллюзии. Вне всякого сомнения, читать дальше нет смысла, тем паче, что занимавший нас человек с усами так и не упоминается на протяжении всех трехсот страниц. Зато с памяти рассуждается предостаточно даже для такого произведения, как будто намеренно сменявшего в себе желание выговориться, попытки предугадать уже давно известное с неуемной страстью к беспорядочному разглагольствованию, подчас попросту неумному, но за которым быть может и один угадываем (не в состоянии выразить вразумительно) то безотчетное движение души, стремящейся к точке, — и останавливается все, — где небывшее тесно сплетается с прошлым, напоминаясь чем-то усиленно рассудка, тиснет иной раз высвобождающего зрение из западни затаявших дыхание вещей, отслаивающихся от самих себя, если долго задерживать взгляд, но это к слову, да и пример не особенно удачный, не дающий и приблизительного представления о том, как словно со сна, из темноты, — приходит так, — глубины глядишь на время своей юности, ранней молодости, на дни проведенные за тихим и покорным следованием окружающему. Улицы, крики... песок городских площадей, лето, холодное солнце на лице... Конечно счастье. Только оно могло быть смыслом той баснословной поры, наивной тончайшим, как изветшавшая позолота, светом, запахами дождей, мокрых камней, пахлого листа, майской шны, когда выпадает роса, и вилы так остро, так зовуще благоухает, и что, как бы не нантию, отделено от машинальной и даже сладостно-убогой жизни каждодневного приучения к чему-то, по убеждению многих, нужному несомненно, тому, что по их словам и есть реальность, но что отделено навсегда и с каждым годом становится сокровенней и таинственней, как и упоение первой дружбой, странное изменение первой любви, кото-

рая опять-таки казалась бесконечной, что связывается неоспо-
редимо в строй такой гармонии, такой высоты, что неизбежно
возникает мысль — было ли это, а если было, точно ли со мной,
а если со мной, то чему должно было учить, о чем говорить,
ведь не только для того, чтобы вспоминать?!

О памяти он пишет на сто пятидесятой странице, когда
речь заходит о любви; шаг, непоним, не лишённый мужества,
поскольку словесность поразительно беспомощна ныне даже в па-
релицовании известных мотивов. Впрочем, говорится с огла-
дой, с толикой неуверенности, которая потом становится зау-
рядной властью. Потом о памяти пишется на двухсот пятиде-
сятой странице, а в последний раз на шести страницах в кон-
це, сразу же после того, как герой идет по залам аэропорта,
вспоминая с неуместной ухмылкой шахматную партию, о которой
говорили его спутники в самолете, о партии, сыгранной по их
словам в Михайловском саду, которая могла сделать честь само-
му Фишеру, ну мы, вписываясь в последний взмах, уже говорим
себе, что мол ничего нового, временной конструи, говорим и
звездем. И тем не менее, я говорил тебе о птице, пересекающей
поток. Почему я так говорил? Ответ мне. Может быть, сущест-
вуют две книги? Три, четыре? О какой памяти он говорит? Та-
же путаница понятий, темнота, намок. Возрастающая перепле-
тость и торопливость языка еще более усугубляет суету, сну-
танину, бросенную на пол нить, из с чем не соотносимый об-
раз, не лабиринт, а бесконечная прямая, предиктованная го-
ризонтом смерти, неуследило спускающаяся с кокона бессилья.
Иным покажется это занимательным, ибо заключает в себе несом-
ненные возможности игры, порождающей своей ограниченностью
ряд законов, которые возвращают ей реальность, позволяющую
преступить закон... Но предстанем себе, вообразим себе хо-
тя бы небритую щеку, сумерки, отдающие на зубах едва слы-
шим скрипом инея; вснынувшая спичка, кость раз пролетит в
зрачке, точно в старинном зеркале в оправе из окаменевших
лов отражения, синевой ослепнет место осиротевшего огня, од-
нако явственной камфорной аромат подмерзших листьев, что-то
готово появиться, но иглы тумана можно не позволяют мысли
подняться слабости, возвращают ее в сейчас, порошит снег,
ни не забываемся, слыша речь, превращая о ней и о чем-ли-
бо говорить. Иными словами, вообразим, что рано или поздно —

— он не исключение — художник натывается на стену, и чем сильнее его способность к сопротивлению, чем изощренней умение использовать малейшие возможности и е в и п е т ь, и о д м е м я т ь, тем величественней стена настоящего, на которой вприору повеситься в лучах восходящего солнца. Иногда, бывает, судьба свисходит к своим чадам и отнынялось милосердно беспокойству, что гонит их, как собак, парует поражение менее унизительное: инфериты, пуэла, утасу, опыт, который те стареются непользовать, поучая, прелесказывая, погружаясь под бременем ответственности все глубже в ил, как некогда в иности зрение — в вещь, радужно осыпаясь; и немнотим пасться плать, подобно птице, пересекая потоки и реки, поднимаясь к луно, плыви от нее к солнцу — мном мусора на самом деле! — столь долго размышлявшие о форме, обреченные теперь ее отсутствию навсегда. Помнят ли они что-нибудь? Вспомнил ли он, что хотел? Я качаю головой — и да и нет. А к тому же, чего мы добиваемся? Что хотим услышать? Я понимаю, было бы забавным сказать, что я и есть обладатель черных, как вакса усов, и по вечерам, словно городской сумасшедший, таскаюсь по аллеи Михайловского сада, подбирая пустые бутылки, влача за собой старомодный, дурящий зонт с резной ручкой. Но в этого, сколь ни соблазнительно, не скажу, воздержусь.

В самом деле, какая разница, черные у меня усы или рыжие? Играл ли я в шахматы или не играл! Какая разница — пишу я романы или не пишу? Что меняет мои мысли? Наконец, что меняет, если во снах, подчас, слышу я новый видг чаек над бегущей водой, а за краем ее встают снежные холмы, при виде которых сердце мое начинает колотиться так, что готово выскочить, а была ли ты — трудно сказать, должно быть, была, было полотенце, утро, потом твоя записка, где что-то о...ак, да: "Луна ли я тебе" — вот такая записка, которая была после того, как ты была, но в тысячекрат древней, и до тебя и до него: видг распариваемых ветром чаек, потому что избрано мной, или я избран ими, а не вот словами, языком, речью, воспоминаньем, болью, страхом, верой в будущее, а вместо этого — темная, иссеченная лучами, вода, плывет и дается, пока я не ощущаю на лице божественное выхение белого дракона, подобно змиему пару клубящемуся у звезд Теней, тяжелой зеленью стоящих у моих окон. Что? Спрашиваю я. Что!

Человек с усами сказал: "Ничто."